

А. А. Федотова

Телесные образы в поздней прозе Н. С. Лескова

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Поздний Н. С. Лесков: научная подготовка к изданию художественных и публицистических произведений 1890-х годов» (грант № 15-04-00192)

Статья посвящена актуальной проблеме анализа изображения человеческого тела в русской литературе XIX в. Вопрос о функционировании телесных образов в поздней прозе Лескова рассматривается в ней на материале одного из наиболее неоднозначных текстов писателя – повести «Заячий ремиз». «Заячий ремиз» анализируется в статье как сложное художественное единство, в основе которого лежит диалог нескольких дискурсивных систем. Смысловое и стилистическое пространство произведения формируется в результате работы автора с «чужим» словом. В статье выявляется, что парадоксальность повести во многом определяется вниманием писателя к изображению различных сторон человеческого тела. Телесные образы в произведении имеют различные модификации: тело чувственное, сакральное, наконец, травмированное. Разнообразные проекции человеческого тела объединяются своей функцией: телесные образы показаны Лесковым как варианты отклонения от нормы. Несоответствие между телесным и социальным, между телесным и духовным первоначально служит важным источником комизма, но постепенно оно приобретает серьезный характер и оказывается знаком трагической разобщенности героя с самым близким, что у него есть, – с собственным телом. Подобный максимализм роднит «Заячий ремиз» с идеями Л. Н. Толстого, нравственно-религиозные взгляды которого в 1880–1890-е годы вызвали у Лескова особый интерес.

Ключевые слова: Лесков, «Заячий ремиз», телесность, интертекстуальность, Гоголь, Сковорода.

А. А. Fedotova

Body Images in Nicolay Leskov's Late Prose

The article raises the urgent problem, which is to analyse the «body discourse» in the 19th century Russian literature. The analysis is based on Leskov's short novel «Zayachiy remiz». It is examined as a complex literary unity, formed on the basis of a dialogue of several discourse systems. Semantic and style features of the essay are the result of the texts integration. It is found out that the main paradoxes of the short novel are linked mainly with the «body discourse». The human body in Leskov's work has several representations: a sensual body, a sacral body, a sensual body, an injured body. The different projections of the «body discourse» are joint due to their functions in the essay. The human body's representations depicted different variants of deviation. Contradictions between the body and moral, between body and spiritual firstly are the source of the comic, but then they lead to the tragic separation between the hero and his body. Such maximalism joints «Zayachiy remiz» with L. N. Tolstoy's ideas, Leskov was interested in his moral doctrine.

Keywords: Leskov, «Zayachiy remiz», corporality, intertextuality, Gogol, Skovoroda.

Тело как культурный феномен оказывается в фокусе внимания гуманитарных наук начиная с 1960-х гг. Открытию новых измерений телесности способствовали работы нескольких поколений философов (исследования Ф. Ницше, З. Фрейда, Э. Гуссерля, Ж. Лакана, М. Мерло-Понти, Ж. Делеза, Ф. Гваттари, Ж. Батая и в особенности М. Фуко). Их труды вызвали интерес гуманитарной науки к изучению телесности в различных дискурсах, в том числе и в литературных текстах разных эпох.

В отечественной традиции важным прецедентом исследования телесного дискурса в литературе является труд М. М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (1965), но активно телесная

проблематика начинает разрабатываться у нас только в 1990-х гг. [13, 16, 18]. В последние годы исследователи обратились к изучению телесного измерения классической русской литературы, в особенности творчества Л. Н. Толстого [11; 15]. Между тем и работы других писателей могут дать важный материал для анализа функционирования телесного дискурса в русской классике. Особенно показательно в связи с этим творчество Н. С. Лескова.

В 1880–1890-х годах Лесков, как известно, проявлял значительный интерес к учению Л. Н. Толстого, важное место в котором занимала телесная практика (физический труд, вегетарианство, в крайних вариантах отказ от «половой любви»). Если нравственная сторона идей писа-

теля по большей части принималась Лесковым без сомнений, то взгляды Толстого на необходимость изменения телесной жизни человека принимались не столь безоговорочно, что особенно ярко отразилось в лесковском эпистолярном искусстве [14]. Однако в поздней художественной прозе Лескова появляется целый ряд образов, созданных под несомненным влиянием «аскетической» стороны толстовского учения. В образах Клавдиньки в «Полунощниках», Лидии в «Зимнем дне», героев и героинь византийских легенд писатель показывает необходимость ограничения полноты телесной жизни.

В рамках данной статьи более подробно остановимся на вопросе о функционировании телесных образов в одном из наиболее сложных и неоднозначных произведений позднего Лескова – повести «Заячий ремиз» (1894) [8]. Несмотря на то, что в последние годы внимание исследователей к поздней прозе Лескова усилилось [2, 5, 7], это произведение до сих пор относится к числу наименее изученных текстов писателя.

«Заячий ремиз» полон комизма, что неоднократно подчеркивалось Лесковым. В письме к редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу писатель дал повести такую характеристику: «Сцена перенесена в Малороссию <...> и с малороссийским юмором дело как будто идет глаже и невиннее» [9, с. 606]. Важным источником комического в произведении являются телесные образы, примером чему служит уже экспозиция сказового повествования. Пространственные координаты повести обозначаются нарратором-протагонистом: «Оно, то есть село наше <...> совершенно как в романах пишут, раскинуто в прекрасно живописной местности, где соединялись, чи свивались, две реки <...> И есть у нас в Перегудах все, что красит <...> Малороссию: есть сады, есть ставы, есть тополи, и белые хаты, и бравые паробки и чернобрыви дівчата <...> Про нашу Малороссию все это уже много раз описывали такие великие паны, как Гоголь, и Основьяненко, и Дзюбатовый, после которых мне уже нечего и соваться вам рассказывать» [9, с. 510]. Это описание подчеркнuto литературно, что акцентируется упоминанием имен писателей Н. В. Гоголя и Г. Ф. Квитка-Основьяненко. Введенные Лесковым в описание места действия детали («реки», «тополи» и, конечно, «чернобрыви дівчата») апеллируют преимущественно к циклу Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»: «на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями» («Сорочинская

ярмарка» [3, с. 88]), «чернобровым дівчатам и молодежи мало было нужды до родни его» («Вечер накануне Ивана Купала» [3, с. 116]), «сквозь темно- и светло-зеленые листья небрежно раскиданных по луку осокоров, берез и тополей» («Сорочинская ярмарка» [3, с. 89]), «река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою» («Сорочинская ярмарка» [3, с. 89]) и др. Характер отобранных нарратором «Заячьего ремиза» деталей отсылает к условному, романтизированному образу Малороссии, который сложился в повестях Гоголя и близкой ему литературной традиции. Он носит не эмпирический, но дискурсивный характер, связанный со стереотипными представлениями об этом месте.

Однако, помимо перечисления «общеизвестных» фактов о «стране Малороссии», нарратор описывает и «особенности <...> села Перегуды»: «перегудинские паны <...> купались себя прямо с бережка <...> и не закрывались <...> а иныише даже и нарочито друг другу такое делали, что если один с гостями на балкон выйде, то другой, который им недоволен, стоит напротив голый» [9, с. 511]. Ожидания слушателей нарратора оказываются обманутыми: расхожих «бравых парубков и чернобровых дівчат» сменяют «раздетые» «перегудинские паны и пани». Интересно, что ситуация обнажения перед гостем является одной из характерных для прозы Лескова. Достаточно вспомнить известный эпизод из повести «Смех и горе»: «Старая княжна Авдотья Одоленская <...> решила сама навестить его. Для этого визита она выбрала день его рождения и прикатила. Дядя <...> ее выпроваживал; но тетка тоже была не из уступчивых <...> она села на диван и велела передать князю, что до тех пор не встанет и не уедет, пока не увидит новорожденного. Тогда князь позвал в кабинет камердинера, разоблачился донага и вышел к госте в чем его мать родила. – Вот, мол, государыня тетушка, каков я родился! Княжна давай бог ноги, а он в этом же райском наряде выпроводил ее на крыльцо до самого экипажа» [10, с. 398]. В «Заячьем ремизе» благодаря использованию образов телесного низа Лесков «снижает» романтизированное представление о Малороссии, которое было сформировано в упомянутых в повести претекстах, следствием чего является рождение комического эффекта.

Пикантная деталь разворачивается в сюжетную ситуацию. Завязкой сказового повествования в «Заячьем ремизе» является визит в семью нарратора-протагониста друга детства его отца – остающегося безымянным героя-архиерея: «Ко-

гда отец <...> послал хлопца узнать, что архиерей <...> делает, то хлопец сказал, что он знов сел обедать, и тогда это показалось отцу за такое бесчинство, что он <...> велел одному хлопцу взять простыню и пошел на пруд купаться. И нарочито стал раздеваться прямо перед домком Алены Яковлевны, где тогда на балкончике сидели архиерей и три дамы и уже кофей пили. И архиерей как увидал моего рослого отца, так и сказал: – Как вы ни прикидайтесь, будто ничего не видите, но я сему не верю: этого невозможно не видеть. Нет, лучше аз восстану и пойду, чтобы его пристыдить <...> Архиерей <...> превесело ему крикнул: – Що ты это телешом светишь!» [8, с. 517]. В контексте «Заячьего ремиза», как и в контексте «Смеха и горя», мотив обнажения акцентирует скандальное нарушение героем общественных правил. Человеческое тело становится знаком отклонения от социальной нормы. Ситуация приема гостей достаточно формализована и подчинена требованиям этикета, что акцентирует момент выхода «за рамки приличия» обнажающегося героя. Степень нарушения героем условностей подчеркивается присутствием большого числа зрителей «купания». Между тем, шокирующий характер поведения персонажа сглаживается благодаря ракурсу подачи события. Повествование в этом случае ведется с идеологической точки зрения нарратора-протагониста, который оценивает происходящее исключительно в юмористическом ключе: «отец <...> с усмешкою глядел на архиерейскую карету» [8, с. 517], «архиерей <...> превесело ему крикнул» [8, с. 517], «архиерей усмехнулся» [8, с. 517], «отец рассмеялся» [8, с. 518]. Благодаря господствующему в эпизоде комизму происходит фактическое снятие конфликта между телесным и социальным в духе народной смеховой культуры.

При создании образа архиерея, как это ни парадоксально, Лесков постоянно возвращается к тем мотивам, которые, по мнению М. М. Бахтина, напрямую связаны с «материально-телесным началом жизни» [1], писатель актуализирует «образы <...> тела, еды, питья» [1]. Так, первый «выход» героя-священнослужителя ознаменован гиперболой: архиерей за день посетил подряд три обеда, на последнем из которых он «все снова ел, что перед ним поставляли, и между прочим весело шутил с отцом, вспоминая о разных веселящих предметах, как-то о киевских пирогах в Катковском трактире и о поросычьей шкурке» [8, с. 519]. Показательно, что преимущественный интерес героя к материальной

стороне жизни сочетается с пренебрежением им своей ролью духовного наставника, что Лесков подчеркивает в кощунственных словах персонажа: «то ли дело житие духовное, где исполняется всякое животнo благоволение» [8, с. 522]. Фрагмент молитвы «перед вкушением пищи» («отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животнo благоволение»), оторванный от исходного контекста, трактуется священнослужителем как исключительно к «животному», то есть «к животу относящемуся» («обычно к жизни плотской, земной, нередко даже собственно к жизни чувственной») [4, с. 556]. Между тем, упоминание о «пище» в молитве перед трапезой, как и просьба о «хлебе насущном» в молитве «Отче наш», помимо своего прямого смысла, имеет, как известно, и смысл переносный, который связан с представлением о том, что сам Христос является «хлебом» для христиан. Именно с образом архиерея связано появление в повести противопоставления телесного и духовного начал в человеке, первоначально «замаскированное» комизмом сказового повествования.

В основной части повести свойственное герою-священнослужителю преимущественное внимание к материальной стороне жизни становится характерной чертой нарратора-протагониста. Лесков подчеркивает телесную избыточность повествователя и портретными деталями («я смолоду был в процветании румяный и полный» [8, с. 536]), и частыми намеками на «свободу кавалерской жизни» [8, с. 539] героя. Однако полноценная телесная жизнь нарратора в ходе развития действия сходит на нет. Важным сигналом начала ее разрушения становится разлад в отношениях нарратора со «служебницей» Христиной: «Христя що ночь не спит, як собака, и все возится <...> А стану спрашивать – говорит, що ей все представляется, будто везде коты мяукают да скребощут» [8, с. 546], «и такая она мне вся сделалась какая-то неприятная – вся даже жирная, и потом от нее отдает остро, як от молодой козы» [8, с. 547], «той же ноци мне привиделся сон, что потрясователи спрятались у меня под постелью и колеблют мою кроватку, и я, испугавшись, вскочил и несколько раз спустил свой револьвер-барбос, и стал призывать к себе Христю и, кажется, мог бы ее убить, потому что у нее уже кожа сделалась какая-то худая и так и шуршала, як бы она неправда была козлиха, желяющая идти с козлом за лыками» [8, с. 549].

Используемые Лесковым образы животных объединяются их устойчивой связью с народны-

ми представлениями о нечистой силе, что вновь вводит «Заячий ремиз» в гоголевский контекст. Обращение к фольклорным демонологическим образам – характерная черта «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Миргорода»: в кошку оборачиваются ведьмы в повестях «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или утопленница», «козлиные рыла» являются устойчивыми атрибутами чертей и в «Сорочинской ярмарке», и в «Пропавшей грамоте» и, конечно, в «Ночи перед Рождеством». В текстах Гоголя введение подобного рода образов объективирует иррациональное начало, ирреальные силы становятся источником, вносящим хаос в жизнь Диканьки. В «Заячем ремизе» благодаря образам нечистой силы также актуализируется хаотическое начало, однако источником хаоса оказываются не внешние силы, а исключительно сознание самого нарратора. Введение в повествование демонологических образов является одним из средств комизма, однако их роль определяется и необходимостью передать процесс постепенного превращения нарратора в сумасшедшего. Образы нечистой силы знаменуют нарастающий конфликт между героем и его телом: то, что раньше вызывало у сказового повествователя положительные оценки («моя служителька Христина, которая, откровенно сказать, была себе такая <...> довольно прелеповатенькая» [8, с. 539], «бабенка юрка, да кругленькая и очень ласковая» [8, с. 543]), теперь обретает негативные смыслы («бісова жинка» [8, с. 544], «чертова баба» [8, с. 546]). Вводя в повесть подобного рода ругательства, Лесков, с одной стороны, обращается к распространенному в литературе способу создания комизма (см. [6]). С другой стороны, интерпретация нарратором образа женщины как одновременно и вызывающего удовольствие, и связанного с «нечистой» силой представляет распространенный в народной культуре вариант неприятия человеческой телесности. Очевидно, что жизнь тела начинает восприниматься нарратором как потенциальный источник угрозы.

Трансформация образа нарратора подкрепляется в повести появлением нового персонажа – учительницы Юлии Петровны. Оно связано с двусмысленным сюжетом, благодаря которому героиня сразу же вовлекается в уже намеченный в произведении конфликт между телесным и духовным. Один из второстепенных персонажей «Заячьего ремиз», Дмитрий Опанасович, «многострастный прелюбодей» [8, с. 550], «взял себе на воспитание золотушную племянницу шести го-

дов и, как бы для ее образования, под тем предлогом, содержал соответствующих особ, к исполнению всех смешанных женских обязанностей в доме» [8, с. 550]. Неоднозначная роль женщин в доме героя служит поводом для возникновения комической ситуации: «Дмитрий Афанасьевич сам не мог ехать за новую особую, а выписал <...> таковую наугад по газетам и получил ужасно какую некрасивую <...> а наученную на все познания в Петербургской педагогии» [8, с. 551].

Портрет Юлии Петровны дан в повести в речи нарратора-протагониста. Его осведомленность в двойной функции учительницы определяет своеобразие ракурса, в котором рассматривается героиня: «Вижу действительно, ах, куда какая не пышная!.. перед самоваром сидит себе некая женская плоть, но на всех других здесь прежде ее бывших при испытании ее обязанностей нимало не похожая. Так и видно, что это не собственный Дмитрий Опанасовича выбор, а яке-с заглазное дрянье <...> вся она болезненного сложения, ибо губы у нее бледные и нос курнопековатый» [8, с. 551]. Портрет Юлии Петровны является ярким примером остранивающей функции сказового повествователя. Оценочная точка зрения нарратора, которая приближается к позиции персонажа Дмитрия Опанасовича, вступает в явное несоответствие с авторской позицией, в результате чего рождается комический эффект. Особенно значимым является факт физической ущербности героини. Характерно, что даже такие семантически нагруженные портретные детали, как короткая стрижка и очки (безусловно, ассоциирующиеся с женской эмансипацией), мотивируются Лесковым перенесенной Юлией Петровной болезнью (тифом). Телесная ограниченность, по мысли писателя, восполняется высокими нравственными качествами героини: Лесков подчеркивает ее профессионализм, нежелание вступать в какие бы то ни было отношения с Дмитрием Опанасовичем, стремление жить по евангельским заповедям. Кроме того, после общения с Юлией Петровной в протагонисте, до этого находящемся под «влиянием» архиерея, происходит «переворот <...> понятий» [8, с. 584]. Полноценность жизни тела оказывается недоступной герою, «зато в его духе поднимается лучшее» [8, с. 585].

Показательно, что в финальном диалоге героини-учительницы и протагониста содержится параллель к начинавшему сказовое повествование эпизоду обнажения отца нарратора перед архиере-

ем: «Ах, бетизы! Это слово напоминает мне нашу бабушку <...> к гостям она не выходила, потому что <...> ее находили неприличною. А неприличие состояло в том, что бабушка стала делать разные “бетизы”, как-то: цмокала губами, чавкала, и что всего ужаснее – постоянно стремилась чистить пальцем нос <...> и как только ей чулок дадут, она начинает вязать и ни за что носа не тронет, а сидит премило» [8, с. 583]. Лесков вновь вводит в повесть ситуацию, когда проявления человеческой телесности вступают в конфликт с конвенциональными нормами. Писатель акцентирует конфликт между телом человека и общественными правилами поведения, которые находят свое выражение во взгляде «другого».

Появление в повести параллельных эпизодов позволяет подчеркнуть принципиальную разницу двух подходов к проблеме телесного, которые связаны с образами архиерея и учительницы. Комическому, в духе народной смеховой культуры, приятию «неприличных» сторон человеческой жизни противопоставляется своеобразная замена телесного социальным. Результат подобной трансформации и продемонстрирован в «Заячьем ремизе» на примере пародийного [10] «жизненного пути» нарратора-протагониста. Телесная ущербность героя достигает максимума в момент заключения его в сумасшедший дом: «С возбуждением сердечнейшего чувства я встал рано утром и <...> даже испугался, якій сморщеватый <...> конечно мое кавалерство, я старик» [8, с. 584]. Однако в финале повествования пребывающий в сумасшедшем доме нарратор наконец обретает своеобразную «общественную» роль: «Я вяжу чулки и думаю, що хочу, а чулки дарю – и меня за то любят» [8, с. 589].

Интерпретация Лесковым проблемы человеческой телесности проясняется при учете включения повести в интертекстуальный контекст. В эпиграфе «Заячьего ремиза», представляющем собой реплику из диалога украинского философа Григория Сковороды «Разглагол о древнем мире», настойчиво повторяется образ тела: «Стань, если хотишь, на ровном месте и вели поставь вокруг себя сотню зеркал. В то время увидишь, что один твой телесный болван владеет сотнею видов, а как только зеркала отнять, все копии сокрываются. Однако же телесный наш болван и сам есть едина токмо тень истинного человека» [8, с. 501]. Выбранная Лесковым цитата отсылает к ключевым понятиям религиозной философии Сковороды, в которой глубоко и многообразно осмысливается идея о соотношении телесной и ду-

ховной сущностей человека. В текстах философа эти две сущности обозначаются как «внешний человек» и «внутренний человек». Для обозначения «внутреннего человека» Сковорода использует такие слова, как «сердце», «Христос», «дух». Понятийный ряд, связанный с «внешним» человеком, гораздо экспрессивнее: «Содомский человек», «обезьяна» и самая частая у Сковороды метафора – *болван*. В этом метафоричном обозначении тонко обозначена семантика изменения, переворота: болван – это истукан, обрубок дерева с круглым верхом, деревянная заготовка для какого-либо изделия. Телесный болван, по мысли Сковороды, должен преобразиться, «оболваниться» в подлинного человека.

Образ «телесного болвана», заданный в эпиграфе, Лесков повторяет в финале повести: «надо идти и тащить вперед своего «телесного болвана» [8, с. 589]. «Теперь это был настоящий сумасшедший, словам которого не всякий согласился бы верить, но любитель правды и добра должен с сожалением смотреть, как отходит этот дух, обремененный надетыми на него телесными болванами. Он хочет осчастливить <...> весь мир, а сила вещей позволяет ему только вязать чулки для товарищей неволи» [8, с. 589]. В «Заячьем ремизе» образ «телесного болвана» получает отсутствующий в претексте смысловой оттенок. В философии Сковороды и «внешний», и «внутренний» человек обладают и телесной и духовной сторонами. Эта метафора философа выражает идею христианства об «одухотворенной плоти», с одной стороны, и о «грешном духе» – с другой. Отсюда закономерное у Сковороды требование отрешиться от своего «внешнего человека» («болвана»): «Есть тело животное, но есть и духовное тело:/ Первое не приносит пользы, второе – спасительно/ Оставь старого человека с его дурным ученьем,/ Прими новые мнения и новые дела Божии» [12:233].

В повести Лескова образ болвана настойчиво называется «телесным», хотя в текстах Сковороды эти слова вовсе не связаны. Слова писателя о том, что необходимо не преодолеть, а «тащить» своего телесного «болвана», также подчеркивают понимание Лесковым этого образа как воплощения материальной, плотской стороны человеческого естества, между тем как идеи Сковороды об «одухотворенности» плоти оказываются чуждыми писателю. Представленное в речи первичного нарратора финальное авторское обобщение о страданиях человеческого духа, «обремененно-го» телесностью, углубляет антропологическую

проблематику повести. «Товарищами неволи» протагониста в этом случае оказываются не только содержащиеся в сумасшедшем доме больные, но и каждый человек, чей дух по необходимости заключен в телесную оболочку. В этой заключительной интерпретации тела как своего рода уз, оков слышится голос самого писателя, уже *тяжело больного* человека, ощущения которого отразились в пронзительном письме к Л. Н. Толстому: «С болезни моей овладел мною ужасный, гнетущий страх, – я, кажется, просто боялся физических ощущений оттого, что “берут за горло”. Когда меня мучит ангина, я все помню и хочу овладеть собою: припоминаю “тернием окровавленную главу”, вспоминаю кончину Филиппа Алексеевича Терновского (удивительную по благодушному спокойствию) и думаю о Вас, но боль все преодолевает, и я теряюсь от страданий и трепещу, что они могут достигать еще высших степеней мучительства. Умереть есть дело неминуемое, и мучителен не шекспировский страх “чего-то после смерти”. Это не страшно, но страшат муки этого перехода» (письмо от 10 января 1893) [9, с. 521].

В письме к редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу Лесков дал «Заячьему ремизу» показательную характеристику: «Писана эта штука манерой капризною <...> с отступлениями и рикошетами» [9, с. 606]. Ослабление событийных связей, свойственное сказовому повествованию, влечет за собой усиление эквивалентных связей между разнородными элементами текста. Значимым фактором формирования тематической эквивалентности в повести выступает мотив телесности.

Телесные образы в произведении имеют различные модификации, среди которых тело чувственное, сакральное, наконец, травмированное. Разнообразные проекции человеческого тела объединяются своей функцией в повести: телесные образы показаны Лесковым как варианты отклонения от нормы. Несоответствие между телесным и социальным, между телесным и духовным первоначально служит важным источником комизма, но постепенно, с развитием действия, оно приобретает серьезный характер и оказывается знаком трагической разобщенности человека с самым близким, что у него есть? – с собственным телом.

С помощью системы интертекстуальных включений Лесков вводит в текст разные версии гармоничного отношения человека к своему телу (приятие тела в практике народной смеховой

культуры, «одухотворение» тела в христианстве). Между тем оба эти варианта в повести отвергаются. «Заячий ремиз» ставит под вопрос возможность согласованности телесных, социальных и духовных функций человека. Подобный максимализм роднит повесть с поздней прозой Л. Н. Толстого, нравственно-религиозные взгляды которого в 1880–1890-е годы вызывали у Лескова особый интерес.

Библиографический список

1. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса [Электронный ресурс] / М. М. Бахтин. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Baht/intro.php
2. Андреева, В. Г. Второе поколение русских нигилистов в восприятии Н. С. Лескова и В. Г. Авсеенко [Текст] / В. Г. Андреева // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. – 2014. – № 5. – С. 131–134.
3. Гоголь, Н. В. Полное собрание сочинений и писем в 17 т. – Т. 1 [Текст] / Н. В. Гоголь. – М.; Киев: Издание Московской Патриархии, 2009.
4. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – Т. 1 [Текст] / В. И. Даль. – СПб.: Издание М. О. Вольфа, 1880. – 1882.
5. Зенкевич, С. И. «Выметальщик сора»: публицистика Н. С. Лескова и общественная гигиена // Историко-биологические исследования. – 2015. – Т. 7. – № 3. – С. 7–28.
6. Злотникова, Т. С. «Просто такая жизнь...» (Абсурд слова, быта и бытия: как ругались в русской драме от Гоголя до наших дней) [Текст] / Т. С. Злотникова // Гоголь. Via et verbum: pro memoria. – М., Ярославль, 2009. – С. 257–293.
7. Ильинская, Т. Б. Неизвестный очерк Н. С. Лескова «О клировом нищеводстве» [Текст] / Т. Б. Ильинская // Русская литература. – 2012. – № 3. – С. 145а–152.
8. Лесков, Н. С. Заячий ремиз // Лесков Н. С. Собрание сочинений: в 11 т. – Т. 9 [Текст] / Н. С. Лесков. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. – С. 501–590.
9. Лесков, Н. С. Письма 1881–1895 годов // Лесков Н. С. Собрание сочинений: в 11 т. – Т. 11 [Текст] / Н. С. Лесков. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. – С. 249–607.
10. Лесков, Н. С. Смех и горе // Лесков Н. С. Собрание сочинений: в 11 т. – Т. 5 [Текст] / Н. С. Лесков. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. – С. 382–569.
11. Лукьянец, И. В. О проблеме телесности в творчестве Толстого (компаративный аспект) / И. В. Лукьянец // Русская литература. – 2010. – № 4. – С. 80–88.
12. Лученецкая-Бурдина, И. Ю., Федотова, А. А. Традиции пародийного романа Л. Стерна в прозе

Н. С. Лескова [Текст] / И. Ю. Лученецкая-Бурдина, А. А. Федотова // Ярославский педагогический вестник. – 2015. – № 6. – С. 222–225.

13. Подорога, В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию [Текст] / В. Подорога. – М. : Ad Marginem, 1995.

14. Розанова, С. А. Лесков и семья Толстого. Неизданная переписка [Текст] / С. А. Розанова // Литературное наследство. Т. 101. Неизданный Лесков. Кн. 2. – М. : ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. – С. 351–373.

15. Скворода, Г. Повна академічна збірка творів. [Текст] / Г. Скворода. – Харків : Майдан, 2011.

16. Сливицкая, О. В. Истина в движении [Текст] / О. В. Сливицкая. – СПб. : Амфора, ТИД Амфора, 2009.

17. Тело в русской культуре [Текст] : сборник статей / сост. Г. Кабакова и Ф. Конт. – М. : Новое литературное обозрение, 2005.

18. Фуко, М. Забота о себе. История сексуальности [Текст] / М. Фуко. – Киев, М. : Дух и литера, Грунт, Рефл-бук, 1998.

19. Ямпольский, М. Демон и лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис) [Текст] / М. Ямпольский. – М. : Новое литературное обозрение, 1996.

Bibliograficheskij spisok

1. Bahtin, M. M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaja kul'tura srednevekov'ja i renessansa [Elektronnyj resurs] / M. M. Bahtin. – Rezhim dostupa: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Baht/intro.php

2. Andreeva, V. G. Vtoroe pokolenie russkikh nigilistov v vospriyatii N. S. Leskova i V. G. Avseenko [Текст] / V. G. Andreeva // Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. A. Nekrasova. – 2014. – № 5. – С. 131–134.

3. Gogol', N. V. Polnoe sobranie sochinenij i pisem v 17 t. – Т. 1 [Текст] / N. V. Gogol'. – М. ; Киев : Izdanie Moskovskoj Patriarhii, 2009.

4. Dal', V. I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikoruskogo jazyka: v 4 t. – Т. 1 [Текст] / V. I. Dal'. – СПб. : Izdanie M. O. Vol'fa, 1880. – 1882.

5. Zenkevich, S. I. «Vymetal'shhik sora»: publicistika N. S. Leskova i obshhestvennaja gigiena // Istoriko-biologicheskie issledovanija. – 2015. – Т. 7. – № 3. – С. 7–28.

6. Zlotnikova, T. S. «Prosto takaja zhizn'...» (Absurd slova, byta i bytija: kak rugalis' v russkoj drame ot

Gogolja do nashih dnei) [Текст] / T. S. Zlotnikova // Gogol'. Via et verbum: pro memoria. – М., Jaroslavl', 2009. – С. 257–293.

7. Il'inskaja, T. B. Neizvestnyj ocherk N. S. Leskova «O klirovom nishhebrodstve» [Текст] / T. B. Il'inskaja // Russkaja literatura. – 2012. – № 3. – С. 145а–152.

8. Leskov, N. S. Zajachij remiz // Leskov N. S. Sobranie sochinenij: v 11 t. – Т. 9 [Текст] / N. S. Leskov. – М. : Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury, 1958. – С. 501–590.

9. Leskov, N. S. Pis'ma 1881–1895 godov // Leskov N. S. Sobranie sochinenij: v 11 t. – Т. 11 [Текст] / N. S. Leskov. – М. : Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury, 1958. – С. 249–607.

10. Leskov, N. S. Smeh i gore // Leskov N. S. Sobranie sochinenij: v 11 t. – Т. 5 [Текст] / N. S. Leskov. – М. : Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury, 1958. – С. 382–569.

11. Luk'janec, I. V. O probleme telesnosti v tvorchestve Tolstogo (komparativnyj aspekt) / I. V. Luk'janec // Russkaja literatura. – 2010. – № 4. – С. 80–88.

12. Lucheneckaja-Burdina, I. Ju., Fedotova, A. A. Tradicii parodijnogo romana L. Sterna v proze N. S. Leskova [Текст] / I. Ju. Lucheneckaja-Burdina, A. A. Fedotova // Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik. – 2015. – № 6. – С. 222–225.

13. Podoroga, V. Fenomenologija tela. Vvedenie v filosofskuju antropologiju [Текст] / V. Podoroga. – М. : Ad Marginem, 1995.

14. Rozanova, S. A. Leskov i sem'ja Tolstogo. Neizdannaja pereписка [Текст] / S. A. Rozanova // Literaturnoe nasledstvo. Т. 101. Neizdannyj Leskov. Кн. 2. – М. : ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. – С. 351–373.

15. Skovoroda, G. Povna akademichna sbirka tvoriv. [Текст] / G. Skovoroda. – Harkiv : Majdan, 2011.

16. Slivickaja, O. V. Istina v dvizhenii [Текст] / O. V. Slivickaja. – СПб. : Амфора, ТИД Амфора, 2009.

17. Тело в русской культуре [Текст] : сборник статей / сост. Г. Кабакова и Ф. Конт. – М. : Новое литературное обозрение, 2005.

18. Фуко, М. Забота о себе. История сексуальности [Текст] / М. Фуко. – Киев, М. : Дух и литера, Грунт, Рефл-бук, 1998.

19. Ямпольский, М. Демон и лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис) [Текст] / М. Ямпольский. – М. : Новое литературное обозрение, 1996.